

"В СТОЛИЦАХ ШУМ..."

Отрадное и вместе с тем горькое чувство охватило Некрасова, когда он ступил на родную землю. Контраст после долгого пребывания на Западе был слишком разителен. Вот как он сам определил в одном из писем первые свои впечатления: "Серо, серо! глупо, дико, глухо - и почти безнадежно! И все-таки я должен сознаться, что сердце у меня билось как-то особенно при виде "родных полей" и русского мужика..." (27 июля 1857 года).

Родные поля и нивы сразу ожили в первых же его стихах, написанных по возвращении:

Все рожь кругом, как степь живая,
 Ни замков, ни морей, ни гор...
 Спасибо, сторона родная,
 За твой врачующий простор!

Так была начата первая лирическая глава поэмы "Тишина" (средняя же ее часть, посвященная павшему Севастополю и народу-герою, была написана еще в Риме). В этой первой главе поэт дал волю своему патриотическому чувству, обострившемуся в отдалении. "Я написал длинные стихи, исполненные любви (не шутя) к родине", - сообщил он Толстому (29 августа 1857 года).

Он воспел и "ровный шум лесов сосновых", и русскую пыльную дорогу, и храм божий на горе, пробудивший в нем "детски чистое чувство веры". Да, в этих стихах, рисующих "храм печали", можно уловить оттенок религиозного настроения, столь редкого у Некрасова. Но еще явственней здесь угадывается символика народного горя, как бы воплощенная в самом облике "убогого храма" с его "скудным алтарем": сюда приходит молиться простой народ, здесь господствует "бог угнетенных, бог скорбящих".

Лирические строки первой главы, покоряющие своей эмоциональной выразительностью, вызвали похвалу Л. Толстого. Аполлон Григорьев, толкуя поэзию Некрасова в "почвенническом" духе, почти целиком процитировал (в статье 1862 года) первую главу "Тишины" как образец высокой художественности, присущей некрасовской музе, и тут же пошутил: "Поэт! поэт! Что же вы морочите-то нас и "неуклюжим стихом", и "догоранием любви"? {Имелись в виду строки: "Мой суровый, неуклюжий стих" и "Догорая, теплится любовь" (из стихотворения "Праздник жизни - молодости годы...").} В этой же первой главе содержатся мысли о России, которые могли сложиться только после возвращения из дальних стран:

Как ни тепло чужое море,
 Как ни красна чужая даль,
 Не ей поправить наше горе,
 Размыкать русскую печаль!

Классически просто здесь выражена душевная боль русского поэта, - ее не заглушат заморские красоты, ибо это боль за свою страну, за ее вековую тишину и печаль. О том же, в сущности, написано в это время и еще одно стихотворение, в котором также преломились первые впечатления от встречи с родиной. Посылая это стихотворение Тургеневу в Париж, Некрасов писал (27 июля 1857 года): "Вот тебе стихи, которые я сложил вскоре по приезде:

В столице шум - гремят витии,
 Бичуя рабство, зло и ложь,
 А там, во глубине России,
 Что там? Бог знает... не поймешь!
 Над всей равниной беспредельной
 Стоит такая тишина,
 Как будто впала в сон смертельный
 Давно дремавшая страна.

Лишь ветер не дает покою
Вершинам придорожных ив,
И выгибаются дугою,
Целуясь с матерью-землею,
Колосья бесконечных нив..."

Вероятно, эти строки сложились даже раньше, чем начало "Тишины". Во всяком случае, они служат дополнением к ней, к ее картинам скромной и печальной русской природы; в то же время стихотворение обогащено новой мыслью - поэту бросился в глаза контраст между оживлением, наступившим в столице, и прежней тишиной "во глубине России". Конечно, он имел в виду не самый подъем общественного движения, который уже начинался в это время и знаменовал собою начало эпохи 60-х годов, а непомерный шум, поднятый либеральными журналистами и восторженными поэтами вокруг ожидавшихся "великих" реформ.

Об этом говорит хотя бы первая строка: "... гремят витии". Старомодное уже тогда словечко содержало пренебрежительно-иронический оттенок вопреки своему старославянскому происхождению и первоначально торжественному смыслу. Любопытно, что именно такую окраску это слово имело уже у Пушкина ("О чем шумите вы, народные витии?"), но сохраняло ее и в позднейшей русской лирике - достаточно вспомнить Блока и поэму "Двенадцать", где оно приобрело ту же насмешливую интонацию ("Должно быть писатель, вития!"); конечно, здесь - сознательно или бессознательно - откликнулось пушкинское и некрасовское слово.

Но если все это так, то можно ли сказать, что вторая строка - "Бичуя рабство, зло и ложь" - точно выражала замысел автора? Бичевать главные язвы русской жизни! Вряд ли такую задачу взяли бы на себя те, кого поэт назвал витиями, - для этого нужны были иные деятели, иные определения. И Некрасов скоро почувствовал это. Задумав в 1858 году напечатать стихотворение в журнале, он начал работать над текстом, создавая новые его редакции, устраняя все неточное или противоречивое, оттачивая свою мысль. Тогда вместо прежней второй строки появилась новая - "Кипит словесная война"; это явилось развитием иронического "витии" и сразу придало стихотворению определенность - речь шла не о реальной борьбе с рабством, а о тех, кто способен лишь на "словесную войну"; в самом этом выражении крылось указание на несерьезность либеральной шумихи, поднявшейся на страницах печати.

Ощутил Некрасов и еще один недостаток стихотворения: сказать, что давно дремавшая страна теперь впала в "сон смертельный", можно было, конечно, только сгоряча, еще не прояснив для себя окончательно идейный смысл, стихотворения. Как ни сомнительны были предстоящие реформы, как ни далека еще была огромная страна от подлинного пробуждения, но все же ледяная кора тиранического николаевского царствования была пробита. Крымская война, недавно закончившаяся, вызвала небывалое оживление в передовых кругах общества, и все лучшие люди (среди них Некрасов) сознавали необратимость этого процесса.

Свидетельством тому могут служить самые стихи Некрасова того времени. А в своих "Заметках о журналах" за ноябрь 1855 года редактор "Современника" так выразил это общее чувство обновления: "... В наше время в самом воздухе есть что-то располагающее - как бы сказать? - к откровенности, к излияниям, к признаниям, - одним словом, к сознанию, с которым неразрывно связано стремление к усовершенствованию. Благородная, великая черта времени! великая и высоко утешительная черта в народе, могучее доказательство здоровья и силы, залог прекрасного будущего!"

В таких условиях говорить о погружении страны в "сон смертельный" было вряд ли возможно. И Некрасов, готовя стихи для печати, снял эти строки, снял ничем не заменив. Таким образом, в следующей редакции четыре строки отпали вовсе, а одна строка ("Что там? Бог знает... не пожмешь!"), в первом варианте рифмовавшаяся со словом "ложь", была заменена другой (с рифмой к слову "война"), к тому же гораздо более выразительной.

Так возникла вторая редакция стихотворения (вернее, первого четверостишия), которую Некрасов спустя год также послал в письме - на этот раз М. Н. Лонгинову в Москву. Жалуясь

своему тогдашнему приятелю на нелепые строгости цензуры, он писал ему 23 сентября 1858 года: "Представь себе, что следующие стихи не увидели света:

В столицах шум - гремят витии,
Кипит словесная война,
А там - во глубине России -
Что там? Немая тишина..."

Но и этот вариант был не последним. Как это часто бывало у Некрасова, каждая новая редакция делала стихотворение более ясным по мысли, четким и гармоничным (образ природы в этих стихах остался без изменений во всех редакциях); оно постепенно обретало ту идейную и художественную завершенность, какой недоставало ему в первом варианте, посланном Тургеневу. Однако ясность мысли отнюдь не способствовала его появлению в печати. Когда в 1858 году дело допито до цензуры, то сразу же возникли трудности, о которых Некрасов упомянул в письме к Лонгвнову.

Один цензор, прочитав стихи, признался, что они "содержат в себе двойной смысл, который цензурный комитет не может себе вполне объяснить". Другой чиновник, рангом повыше, понял несколько больше и потому написал: "Так как это стихотворение, выражая в первых двух стихах слишком звучными словами деятельность наших столиц, совершенно противоположную какому-то безотрадному положению остальной части России... может подавать, по мнению комитета, повод к различным неблагоприятным толкам, то С. - Петербургский цензурный комитет считает необходимым представить это стихотворение при сем на благоусмотрение Главного управления цензуры".

А третий, уже в Главном управлении, полностью поддержал все эти сомнения и стихи просто запретил. Не удивительно, что Некрасов писал по этому поводу: "... муза моя поджала хвост, как при Мусине-Пушкине" (имелся в виду председатель петербургского цензурного комитета, действовавший в самые мрачные годы реакции, до Крымской войны).

Только спустя несколько лет Некрасов сумел напечатать стихотворение "В столицах шум...". Он включил его во второй сборник своих стихов, вышедший в 1861 году, когда цензурный гнет ненадолго ослабел. Для этого издания поэт приготовил окончательную редакцию стихотворения, где третья и четвертая строки читались так:

... А там, во глубине России -
Там вековая тишина.

На первый взгляд различие как будто не слишком велико - "немая тишина" или "вековая тишина"... Но если вдуматься, то можно понять, чем руководствовался поэт, когда произвел эту замену. Вспомним, что он готовил стихотворение к печати в конце 1860 года, накануне крестьянской реформы. Это было время усиления крестьянских волнений, резкого увеличения числа бунтов и восстаний. Еще летом 1857 года было жестоко подавлено волнение крепостных в одном из сел Рязанской губернии, и, по-видимому, именно на это событие откликнулся Некрасов в стихотворении "Бунт" ("Скачу как вихорь из Рязани"). Следовательно, он знал, что "во глубине России" теперь царила, может быть, и вековая, но отнюдь не немая тишина.

И подобно тому как несколько лет назад он отбросил слова о "смертельном сне", так теперь, в 1860 году, ему показался неточным, неверным эпитет "немая". Думается, в этом и заключался смысл одной только, но важной поправки, внесенной поэтом в окончательную редакцию стихотворения. Впервые образ "тишины", конечно во многом условный, возник у Некрасова в стихотворении "В столицах шум...". Но вскоре он развернул его в поэме, так и озаглавленной - "Тишина". Здесь, обращаясь к родной стране, он в раздумье говорил:

Не угадать, что знаменует
Твоя немая тишина...

Так и было напечатано в сентябрьском номере "Современника" (1857). Но уже в следующей публикации поэмы (сборник стихов 1861 года) эти строки, столь близко напоминающие первую редакцию стихотворения "В столицах шум..." ("Что там? Бог знает... не поймешь!"), были сняты автором: "немая тишина", воспринимавшаяся как символ застоя, неподвижности, и в этом случае его не удовлетворила. Впрочем, это было связано и с общей переработкой поэмы (о чем уже говорилось). В окончательном и наиболее зрелом варианте поэмы, обращаясь к завтрашнему дню, поэт воспел "тишину", которая предшествует пробуждению и светится "солнцем правды". Как будто полемизируя с собственными стихами, в свое время посланными Тургеневу, -

Над всей равниной беспредельной
Стоит такая тишина,
Как будто впала в сон смертельный
Давно дремавшая страна -

Некрасов теперь восклицает:

Над всею Русью тишина,
Но - не предшественница сна:
Ей солнце правды в очи блещет,
И думу думает она.

Менялись времена, менялась "Русь", и вместе с тем уточнялся, обогащался новым содержанием лирический образ тишины в стихах Некрасова, созданных по возвращении на родину.

* * *

Был самый конец июня 1857 года, когда Некрасов вернулся домой и опять поселился на даче возле Петербурга. Он привез с собой дорогую охотничью собаку, купленную в Англии, и очень полюбил ее за ум и хороший характер. В первых же письмах он начал жаловаться Тургеневу на свое душевное состояние, - подразумевались опять трудные отношения с Авдотьей Яковлевной. "... Надо работать, а руки опускаются, точит меня червь, точит".

И тем не менее вскоре началась его обычная деятельная жизнь: он с головой уходит в работу, за которой легко проследить по его письмам. Вот он шлет обращения к участникам "обязательного соглашения", пишет Тургеневу в Париж, Островскому в Ярославль, Григоровичу в его имение Дулебино; Толстому, проигравшемуся в рулетку в Бадене, он немедленно - по его телеграмме - отправляет деньги и просит срочно прислать повесть, ибо "ни от кого из участников ничего нет". Но Толстой вскоре сам явился в столицу и привез с собою рассказ "Люцерн". 1 августа он читал его у Некрасова на петербургской даче, где прожил несколько дней. Они вместе ездили однажды в гости, после чего Лев Николаевич сделал в дневнике такую запись: "... Некрасов дорогой говорил про себя. Он очень хорош. Дай бог ему спокойствия".

Деятельность его становится все многообразнее. Он, правда, пишет Фету: "Занятия мои - сон, еда и карты" (октябрь 1857 года); но в это же время - чем только он не занят! Он собирает материалы для популярных сборников "Легкое чтение" (выходили под редакцией Некрасова в 1856-1859 годах); ведет переговоры (переписку) с художником Н. А. Степановым по поводу организации сатирического журнала "Искра"; затевает издание литературного и ученого сборника в память Белинского, надеясь поддержать этим вдову и пятнадцатилетнюю дочь критика (самой М. В. Белинской он пишет, что хотел бы воздать ее мужу "за все доброе, что он сделал для меня как мой духовный воспитатель").

И это далеко не все. К примечательным трудам, задуманным и начатым в эти годы, относится полное собрание драматических сочинений Шекспира, изданное Некрасовым совместно с переводчиком Н. В. Гербелем в четырех томах (1865-1868). Некрасов любил и читал Шекспира, он считал, что в нем "сильно нуждается русская публика", и потому часто помещал

переводы шекспировских трагедий в "Современнике". К участию в будущем издании он привлек лучших переводчиков своего времени.

Не менее интересно и еще одно начинание Некрасова, выполненное под его прямым руководством, - издание романа американской писательницы Г. Бичер-Стоу "Хижина дяди Тома". Роман, рисующий ужасы рабовладельчества в Америке, уже снискал популярность почти во всем мире, но еще не был известен в России. Некрасов понимал, какое значение может иметь такая книга в разгар борьбы против крепостного права, когда общество занято обсуждением предстоящей крестьянской реформы, то есть готовится к отмене рабства. Он тогда же писал Тургеневу: "... вопрос этот у нас теперь в сильном ходу, относительно наших домашних негров" (25 декабря 1857 года).

Некрасов не случайно писал именно Тургеневу о своих намерениях относительно "Хижин дяди Тома": встречаясь с Тургеневым в Париже, он, конечно, не мог не знать о только что состоявшемся знакомстве автора "Записок охотника", книги о "наших домашних неграх", с автором романа о неграх американских. Еще 5 декабря 1856 года Тургенев писал Дружинину из Парижа в Петербург "... я был представлен г-же Бичер-Стоу; добрая, простая - и представьте! - застенчивая американка; с ней две дочки рыжие, в красных бурнусах..." А спустя несколько месяцев об этом знакомстве с Бичер-Стоу узнал гостивший в Париже Иван Аксаков; он тогда же сообщил отцу (24 апреля 1857 года), что Тургенев "был поражен ее простотой (в высоком смысле этого слова)".

Но Некрасов не был уверен, пропустит ли роман отечественная цензура. Были серьезные основания сомневаться в этом. И тогда он решился на крайние меры: судя по всему, он попробовал подкупить цензора, причем довольно изысканным образом. Об этом ясно говорят гонорарные ведомости "Современника". Из них можно узнать, что один из переводчиков романа получил неслыханно высокий гонорар, во много раз превышающий нормы заработка других переводчиков. Например: известный литератор, бывший петрашевец Ф. Г. Толль за переведенные им около двух печатных листов получил около двадцати рублей (то есть примерно по десять рублей за лист), а безвестный Новосильцев за пять листов получил пятьсот рублей! {С. А. Рейсер, Гонорарные ведомости "Современника". "Литературное наследство", т. 53-54. М., 1949, стр. 245 и 279.} Но все становится понятно, как только мы узнаем, что П. М. Новосильцев был в это время (очень недолго) цензором "Современника"; естественно предположить, что он заранее обещал Некрасову пропустить роман, потому-то его и пригласили в качестве одного из переводчиков.

Интересно и другое: перевод романа выполнялся в самом срочном порядке, Некрасов привлек для этого пять переводчиков! Он явно спешил - не только, чтобы дать подписчикам "Хижину дяди Тома" в качестве приложения к началу нового, 1858 года, но и затем, чтобы Новосильцев успел подписать книгу к печати. Вот почему он глухо упомянул в том же письме к Тургеневу, что у него "открывалась возможность" перевести роман Бичер-Стоу. Но беглое упоминание о такой возможности отнюдь не было случайным: это подтверждает одно из обращений к участникам "обязательного соглашения", в котором Некрасов, отчитываясь в "чрезвычайных расходах", понесенных редакцией в начале 1858 года, назвал и такой необходимый расход: "Редакция не могла упустить неожиданно представившейся возможности выдать роман "Хижина дяди Тома". Мы теперь знаем, в чем заключалась эта неожиданная возможность. Она недешево обошлась Некрасову, во, видимо, он придавал такое значение роману, что даже счел нужным "выдать" его подписчикам бесплатно. "Я решился еще на чрезвычайный расход", - сообщил он об этом Тургеневу, одному из участников "обязательного соглашения".

Такими заботами была насыщена жизнь Некрасова на новом этапе - после возвращения на родину. Он сам определил это так: "Жизнь моя въехала в обыкновенную колею, - целый день чем-нибудь полон - хандрить некогда" (10 сентября 1857 года).

* * *

На петергофской даче у Некрасова летом 1858 года побывал Александр Дюма-отец, гостивший тогда в Петербурге. Он остановился в Полюстрове у графа Кушелева-Безбородко, с

которым познакомился в Париже. Его пребывание в России широко освещалось печатью. "Современник" приветствовал автора "Трех мушкетеров" в очередном обозрении-фельетоне Панаева "Петербургская жизнь", где говорилось: "Александр Дюма уже около месяца в Петербурге. Это самая замечательная петербургская новость июня месяца".

У Кушелева Дюма познакомился с Григоровичем, который по-французски "говорил как парижанин" (так отметил гость), и тот стал его возить по Петербургу и окрестностям. В намеченной программе значился визит на дачу к Панаеву, одному из редакторов "Современника", где Дюма надеялся познакомиться с Некрасовым, "одним из самых популярных поэтов молодой России*" (слова Дюма).

Появление Дюма на некрасовской даче описано в фельетоне Панаева, в путевых заметках самого писателя, в воспоминаниях Авдотьи Панаевой и, наконец, в "Литературных воспоминаниях" Григоровича.

"... Мы оканчивали наш обед на широкой, зеленой... площадке сада, и, когда Дюма... показался из-за деревьев, высокий, полный, дышащий силой, весельем и здоровьем, с шляпой в руке (он надевает шляпу только в самых крайних случаях), с поднятыми вверх густыми и курчавыми волосами, с сильною уже проседью, мы (три или четыре литератора, тут бывшие) отправились к нему навстречу..." - рассказывал читателям фельетонист "Современника".

"Наши дрожки, - дополняет его рассказ Дюма, -... вдруг выехали на лужок с небольшой очаровательной дачей и накрытым перед нею столом, за которым уже сидели семь человек обедающих..." Все тотчас обернулись на шум подъехавших дрожек... Панаев с раскрытыми объятиями вышел ко мне навстречу... Затем приблизилась госпожа Панаева: я поцеловал ей руку, и она, следуя прекрасному русскому обычаю, поцеловала меня в голову. Госпожа Панаева - женщина тридцати или тридцати двух лет {Авдотье Яковлевне было в это время тридцать восемь лет.}, с очень выразительной красотой; она - автор нескольких, повестей и романов..."

Затем согласно рассказу Дюма привстал из-за стола Некрасов. Как человек менее общительного характера он ограничился тем, что сдержанно поклонился и подал гостю руку, тут же поручив Панаеву извиниться перед ним за незнание французского языка.

Дюма и до этого много слышал о Некрасове как о большом поэте, дарование которого "соответствует запросам времени". Внимательно присмотревшись к нему, он пришел к такому заключению: "Это человек тридцати восьми или сорока лет, с болезненным и очень грустным лицом, с характером мизантропическим и насмешливым. Он - страстный охотник, и это потому, как мне кажется, что охота дает ему право на уединение. Любит он больше всего на свете, после Панаева и Григоровича, свое ружье и своих собак".

Французский романист не ограничился этими несколько наивными замечаниями; он сообщил своим читателям и о последнем сборнике стихов Некрасова, о цензурном запрете на перепечатки из него и о неимоверно возросшей цене на книгу: Дюма заплатил за нее шестнадцать рублей (шестьдесят четыре франка), в то время как при своем появлении она стоила всего полтора рубля.

Григорович помог Дюма познакомиться со стихами Некрасова. Более того, с его помощью Дюма перевел несколько стихотворений на французский язык и включил эти переводы в свой путевые заметки {Они вышли в Париже под названием "Впечатления от поездки в Россию" (1859)}. Это были "Забывшая деревня", "Еду ли ночью..." - стихотворение, которое Дюма назвал душераздирающим, прибавив, что "из недр общества никогда еще не выходил подобный вопль отчаяния". Третье стихотворение ("Княгиня") Дюма перевел и процитировал в своих очерках для того, чтобы, по его словам, рассеять "одно заблуждение или, вернее, опровергнуть клевету на одного нашего соотечественника, распространенную в России".

В чем же состояло заблуждение? В петербургских светских кругах распространился слух о печальной участи известной русской аристократки графини А. К. Воронцовой-Дашковой: после смерти мужа она уехала в Париж, там вышла замуж за какого-то авантюриста, который

будто бы промотал состояние графини, а ее бросил умирать в одной из парижских больниц. Эту историю будто бы и описал Некрасов в одном из лучших своих стихотворений.

Дюма счел нужным заступиться за соотечественника и развеять легенду. Он уверял в своих "Впечатлениях...", что Некрасов, как и все остальные, был введен в заблуждение, что второй муж Воронцовой-Дашковой принадлежит к высшему обществу и обладает достаточным состоянием, что он даже богаче ее. "Эта обаятельная и умная женщина, - писал Дюма, - с которой я имел честь быть знакомым, была кумиром своего мужа. Пораженная тяжелой болезнью, она умерла среди роскоши, в одном из лучших домов Парижа, на площади святой Мадлены, против бульвара... Она умирала, окруженная заботами мужа".

В этих и других сведениях, сообщаемых Дюма, конечно, могли быть преувеличения, но трудно заподозрить его в прямой лжи. Тем более что он ссылался на многих известных лиц парижского общества, которые могли бы подтвердить его слова.

Итак, мы поверили рассказу Дюма. Но тогда придется признать, что Некрасов в своей стихотворной новелле возвел напраслину на мужа графини, а ее собственную судьбу изобразил в превратном виде. Так ли это на самом деле? Нет, Некрасов ни в чем не виноват.

Стихотворение "Княгиня" появилось в апрельском номере "Современника" за 1856 год, следовательно, оно написано не позднее марта, а графиня Воронцова-Дашкова, оказывается, умерла в Париже 18 мая того же года (об этом можно узнать из старых справочников, но об этом почему-то умалчивают все комментаторы некрасовского стихотворения).

Весть о смерти графини могла дойти до Петербурга не раньше начала июня. Таким образом, Некрасов писал свое стихотворение о смерти княгини в убогой больнице в то время, когда графиня Воронцова-Дашкова не только была жива, но, может быть, даже еще здорова (Дюма говорит о трех месяцах ее болезни). Объяснение этой странной истории, видимо, может быть только одно: Некрасов свободно развивал избранный им сюжет - жалкая судьба аристократки, светской львицы, оказавшейся в руках ловкого буржуазного дельца. Конечно, он был увлечен мыслью показать крутой перелом этой судьбы, контраст, внезапное падение из самых "верхов" общества в нищету. А героиня, завершившая свои дни в обстановке одного из лучших домов Парижа, вряд ли могла бы привлечь его внимание.

В соответствии со своей манерой отталкиваться от реальных фактов поэт использовал некоторые известные подробности из жизни определенного лица, даже как будто определил это лицо, намекнув на лермонтовские стихи, посвященные именно Воронцовой-Дашковой. Но во всем остальном он отдался во власть фантазии. Вспомним хотя бы последние строки стихотворения, где говорится о бесславном конце древнего рода и упомянут "голяк-потомок отрасли старинной, светом позабытый - и ни в чем невинный". Этот "голяк", если иметь в виду единственного сына графини, умершей в Париже, был Илларион Иванович Воронцов-Дашков, один из богатейших русских помещиков, видный государственный деятель. Была у графини еще и дочь, вышедшая замуж за графа Паскевича-Эриванского. Она жила в Париже в то время, когда умирала ее мать, и, по сообщению того же Дюма, на следующий день после ее смерти получила от барона де Пуалли, мужа матери, все ее фамильные драгоценности. Но вот прошло время. Последовательность событий забылась, и многие, в том числе Панаева, начали представлять себе участь Воронцовой-Дашковой не по слухам, ходившим, в обществе, но прежде всего - по некрасовскому стихотворению. Дошло оно и до Парижа.

Прошло немного времени после отъезда Дюма на родину, как вдруг на петергофскую дачу явились два француза, которые объявили о своем намерении вызвать автора "Княгини" на дуэль. Один из них - барон де Пуалли - оказался мужем покойной графини; он считал себя оскорбленным и требовал удовлетворения.

Некрасов был чрезвычайно взволнован появлением неожиданных гостей и, по словам Панаевой, немедленно принял вызов. На другой день он даже ездил в тир, чтобы поупражняться в стрельбе из пистолета. Друзья его также были в тревоге. Добряк Панаев твердил, что никак нельзя допустить, чтобы еще один русский поэт был убит на дуэли французом.

Несколько дней тянулись переговоры, наконец Панаев и другой предполагавшийся секундант сумели уговорить французов отказаться от нелепого вызова, ссылаясь на плохое состояние здоровья Некрасова, но еще больше на то, что в стихотворении изображена совсем не графиня, отрицательным же лицом является "доктор-спекулятор", а совсем не барон.

Так или иначе, французы уехали. Но в некрасовском кругу долго еще недоумевали: каким образом парижский муж графини узнал о стихотворении и кто мог подтолкнуть его на такие действия, которые должны были повредить репутации Некрасова? Это "так и осталось загадкой для нас", - замечает Панаева.

Между тем загадка разгадывается без особого труда. Дюма опубликовал "Княгиню" в своем переводе тотчас по возвращении в Париж и тем привлек к ней внимание барона де Пуалли; будучи знаком с ним лично, он мог показать ему стихи и до их появления в печати. Но каким образом Дюма, не знавший русского языка, отыскал среди множества стихов некрасовского сборника именно "Княгиню" и догадался перевести ее, чтобы этим способом опровергнуть клевету? Не исключено, что Дюма помог в этом его петербургский чичероне Григорович - ведь это он отбирал стихи, он же готовил и подстрочные (прозаические) переводы.

Такова эта по-своему любопытная история, разыгравшаяся в связи с приездом Дюма вокруг одного некрасовского стихотворения.